

(1917 г.) I

На другой день после производства старших юнкеров [воспитанник военного училища.] в офицеры, когда в оркестре освободилось много мест, я сказал:

- Журавлев, возьмите меня в оркестр.

Юнкер Журавлев, старший в оркестре, здоровый и плотный, но похожий на желторотого птенца, посмотрел на меня с удивлением и спросил:

- На чем вы играете?

- На большом барабане, - твердо соврал я.

Журавлев знал, что я пишу стихи, и с игрой на барабане это у него не совмещалось. Он недоверчиво прищурился:

- А вы умеете?

- Умею.



Журавлев почесал у себя за ухом, потом пытливо посмотрел на меня. У меня не хватило нахальства выдержать его честный, открытый взгляд, и я опустил глаза. Тогда Журавлев сказал:

- Нет, Петров. Вы не умеете играть на барабане.

- Да что ж там уметь? Ну бить колотушкой по этой самой, как ее... Тут, понимаете ли, для меня главное дело не барабан, а лишний час отпуска.

У нас в училище музыканты пользовались лишним часом отпуска. Этот довод подействовал, потому что Журавлев глубоко вздохнул, вытащил из кармана помятую бумажку и записал в нее мою фамилию, а против фамилии написал слово «барабан». А когда вечером мы сидели на койках друг против друга и снимали сапоги, Журавлев вдруг сделал испуганные глаза и сказал:

- Но слушайте, Петров, если вы только... это вам не стихи...

Я понял, что дело идет о барабане, и сказал:

- Не беспокойтесь.

Через пять минут я высунул голову из-под одеяла. Меня тревожил один вопрос.

- Журавлев, вы спите?

- Сплю, - ответил Журавлев сердитым и заспанным голосом.

- А скажите, я уже в это воскресенье могу записаться в отпуск на лишний час?

- Можете, - буркнул Журавлев из-под одеяла и, вероятно, сейчас же заснул.

Я же думал о той, ради которой пустился на такую рискованную авантюру с барабаном. Рискованную потому, что за всю свою жизнь я потрогал всего один раз барабан руками. Это случилось когда-то на детском празднике, когда я пробрался к барабану, который всегда пленял меня своей солидностью и блеском, и щелкнул его по туго натянутому полупрозрачному глупому боку. А солдат с рыжими усами сердито сказал:

– Не трожь!

В тот же день для меня стало ясно, что скромная карьера коночного [городская железная дорога с конной тягой, существовавшая до появления трамвая.] кондуктора, о которой я страстно мечтал в детстве и к которой усиленно готовился с трех лет, не выдерживает ни малейшей критики в сравнении с блестящей светской карьерой барабанщика. Я твердо решил, что когда вырасту большим, то сделаюсь барабанщиком, и, когда маленькие дети станут трогать мой барабан, я буду сердито кричать: «Не трожь!»

Казалось, моя детская мечта сбывается. Утром Журавлев опять пылливо посмотрел на меня и сказал:

– Не забывайте, Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр.

Это было для меня новостью. Я был готов ко всему, но только не к этому. Дело представлялось мне гораздо проще: оркестр играет свое, а барабанщик между прочим содействует общему успеху. Так, по вдохновению. Однако я решил идти до конца и сказал Журавлеву:

– Надоели вы мне со своим барабаном. Не беспокойтесь. Я умею.

За завтраком Журавлев опять сказал:

– А может быть, вы, Петров, не умеете? Скажите лучше прямо.

– Да умею же, господа. Даже в оркестре играл. У нас в этом... в гимназии оркестр был. Так там. Ничего себе, знаете. Довольно приличный оркестр.

– А вы не врете?

Положительно Журавлев был фанатиком своего дела. Надо было видеть, с каким азартом вербовал он в оркестр корнетистов [музыкант, играющий на корнете, медном духовом инструменте в виде рожка.], басов [обладатель самого низкого мужского голоса.] и баритонов [обладатель среднего по высоте между басом и тенором голоса.]. Но все-таки он мне надоел.

Если бы не Зиночка, я сознался бы во всем. Но ради лишнего часа свидания с любимой женщиной человек способен на какую угодно глупость. Об этом можно бы написать целое сочинение, но это в мои планы не входит. II

До этого времени жизнь моя была легка и сравнительно беззаботна. Утром, на лекциях тактики [составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения боя.], фортификации [военно-инженерная наука о строительстве оборонительных сооружений и укреплений.] и артиллерии, мне снились чудные золотые сны про офицерские бриджи, погоны с одной звездочкой. После завтрака, на строевых занятиях, я дышал здоровым зимним воздухом, а если рота выходила к морю и, проходя через город, пела песни, я тоже пел во весь голос. Голос у меня был сильный и похожий на вопль умирающего лебедя. Притом ни малейшего намека на слух. Поэтому, когда я особенно увлекался, прохожие останавливались и улыбались, а с товарищами от смеха делались истерики, и они переставали идти в ногу. Приходили мы в училище уставшие, голодные и прямо к обеду. Потом был вечер, и мы готовились к репетициям, а перед сном смутно возникал образ офицерских бриджей и золотых погон. И непременно кто-нибудь, засыпая, сообщал приятную новость:

– Господа, а вы знаете, если не считать завтрашнего дня и всех воскресений, то до производства остается пятьдесят дней.

Теперь мое существование было отравлено барабаном. Стоило мне о чем-нибудь замечтаться, как сейчас же совесть спрашивала с ехидным шипеньем: «А не известно ли вам, юнкер Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр?» Увы, мне это было известно, и я страдал. Но когда оказалось, что в оркестре есть еще капельмейстер [дирижер военного духового оркестра.], я впал в черную меланхолию и картинно рисовал себе, как меня на первой же сыгровке выгонят из

оркестра и оставят на месяц без отпуска.

На следующий день, перед обедом, когда все роты собрались в столовой, дежурный взводный объявил:

– Внимание! Получена телеграмма юнкеру второй роты Крынкину. В чайной комнате найдено двадцать копеек, полевой устав и салфетка. Получите у дежурного взводного. После подъема певчим собратся на спевку, а музыкантам на сыгровку. – И, увидев дежурного офицера, заорал: – Батальон, смирно!

И, когда хором пели молитву, а потом обедали, у меня бродила мысль о самоубийстве. После обеда Журавлев сказал:

– Не забудьте, Петров, что после обеда сыгровка.

И странно: на душе у меня улеглось и стало спокойно, как перед боем. «Пропадать так пропадать», – подумал я и сам удивился своему хладнокровию.!!!

Гвардия умирает, но не сдается. После знаменитого «подъема» я решительно взбежал на третий этаж, в кладовку, где выдавали инструменты. Возле кладовки уже толпились юнкера-музыканты, и на лестнице гулко носились от стены к стене побрякивания тромбонов и змеиные трели флейт. Возле моего барабана стоял худой юнкер и в недоумении вертел в руках медные тарелки. Он старался придать своему лицу выражение небрежности – мол, не в первый раз, слава богу, приходится играть на этих самых тарелках. Я подошел к барабану, солидно ткнул его два раза в бок и спросил тощего юнкера:

– Вы не находите, юнкер, что барабан несколько слабо натянут?

Юнкер в свою очередь ткнул в барабан большим пальцем и сказал:

– До известной степени, хотя вообще...

Я вздохнул. Он тоже.

– А вы давно на тарелках играете?

– Собственно, давно. Я, знаете, в Тифлисе еще в симфоническом оркестре играл. Там у нас, в Тифлисе, эти самые тарелки серебряные были. Это чтобы для звука.

– Ага, а скажите, как нужно на барабанах играть? – попробовал я осторожно позондировать почву [попытаться предварительно выведать что-либо.]. – Собственно, я знаю как, но я хотел знать ваше мнение. Именно как у вас в Тифлисе в симфоническом оркестре производили самый звук?

– А колотушкой. Очень просто. Берете колотушку и вот так...

Он взял колотушку и несколько раз ударил наискось по коже.

Густой упругий звук запрыгал по лестнице, как футбольный мяч. Юнкер положил колотушку и спросил:

– А вы разве что, не умеете?

– Умею, но, признаться, забыл: давно не играл.

Помолчали.

– А когда нужно бить? По счету какому-нибудь или как?

– Да, по счету. Когда играют марш, так под левую ногу: раз, два, раз, два. Ну, мы играем только марши, значит, под левую ногу все время. На тарелках, кажется, то же самое.

– А как вы думаете, нас на это воскресенье на лишний час отпустят?

– Я думаю – отпустят.

Я посмотрел на него, он на меня, и мы оба засмеялись. Я взял свой барабан с колотушкой, он тарелки, и мы сбежали за другими вниз. Надели шинели, фуражки и пошли через двор в манеж, где обыкновенно делают гимнастику и устраиваются сыгровки. В манеже было уже темно и холодно. Зажгли несколько лампочек. Расставили пюпитры [подставка для нот.] вокруг. Я поставил барабан на козлы, и по спине у меня пробежала дрожь. Упражнялся косо бить колотушкой по ненавистному барабану, стараясь подражать тощему юнкеру. Журавлев посмотрел на меня внимательно и хотел что-то сказать, но не сказал, а вздохнул. Пришел капельмейстер. Журавлев скомандовал нам: «Смирно!» Капельмейстер был низенький толстый чех. Переваливался на кривых ножках, гордо носил чиновничьи погоны и фуражку блином. На щеке у него был большой красный

нароост, похожий на сливу. Он сказал:

- Здравствуйте. Какой кольёд и въетер. Чистое наказание. Ну, не будем время терять - и так поздно. Начинаем.

Он обежал всех музыкантов, нажимал на клапаны труб, перелистывал ноты, суетился и говорил:

- Поже мой, поже мой!..

Наконец он успокоился и сказал:

- Ну, откройте марш номер четырнадцать.

Зашелестели нотами. Трубы заблестели медью. Мой сосед воинственно помахал тарелками. Капельмейстер зловеще постучал карандашом по пюпитру.

- Фнимание! Три, четыре.

Он с таким азартом взмахнул рукой и топнул ногой, что не ударить колотушкой по барабану было невозможно. И я ударил. Загремели тарелки, заревели трубы на разные лады, как стадо слонов. Некстати провыла флейта.

- О, поже мой, что вы делаете? - завопил капельмейстер, инстинктивно хватаясь за свои музыкальные уши. - Ради пога, перестаньте!

- Отставить! - закричал Журавлев. В эту минуту он был велик.

Замолкли не сразу, а постепенно. Капельмейстер бросился на первого попавшегося ему на глаза. К несчастью, это был я.

- Што ви делаете? Разве можно так бить в парапан? Ви когда-нибудь раньше играли на парапане?

«Пропал», - подумал я и неуверенно соврал:

- Так точно, господин капельмейстер, играл.

- Где же ви играли?

- В этой... в пятой гимназии. Там у нас был свой оркестр.

- Что ви мне рассказываете всякий небилец, ей-погу. Я уже двадцать пять лет в пятой гимназии капельмейстер. Ни разу вас там не видел.

Он оглядел публику большими сердитыми глазами и вдруг засмеялся.

- Хе-хе-хе!.. Ну, ничего. Научимся. Еще раз. Фнимание! Два, три, четыре.

Все засмеялись. Гроза прошла.

На этот раз вышло лучше. Капельмейстер орал на какого-то баса, но, боже мой, какое, однако, сложное искусство - играть на барабане! Вокруг ревут трубы, в левое ухо стреляет, как из пушки, бас, в правое гремят тарелки тощего юнкера, а тут изволь считай: «Раз, два, раз, два» - и следи за рукой капельмейстера, которая свирепо рубит стонущий воздух.

Драма!IV

Одним словом, когда я на следующей сыгровке появился с барабаном, юнкера весело заулыбались и даже кто-то скомандовал:

- Смирно!

Я поставил барабан на козлы и сказал:

- Дорогу чистому искусству!

Мы играли марши, и я все думал о том, что если на обыкновенном турецком барабане в жиденьком юнкерском оркестре так трудно играть и все время сбиваешься с такта, то какое счастье быть композитором, как, например, Скрябин, и написать «Прометей», где сложнейшая партитура. И думал я еще об участии всех барабанщиков. И моя душа плакала над их безобразной жизнью. Что может быть глупее игры на барабане? Играют марш - колоти себе по гулкой коже: «Раз, два, левой, левой». Играют «Боже, царя храни», а ты следи за корявой капельмейстерской рукой и старайся не сбиться с такта. Противно!

Мои сердечные дела шли на повышение. В воскресенье в отпуск я записывался до двенадцати часов ночи и в шесть мчался к ней. Стояла чудная, пушистая зима. Ветер сыпал снег. В улицах горели лиловые вечерние фонари.

- Звончик!

Лошадка трусит по улицам, которые в снегу кажутся незнакомыми. Милая, как я ее люблю!

Маленькая, черненькая, родимое пятнышко над верхней губой. За что я так страшно счастлив?

Дам извозчику рубль, пусть он тоже будет счастлив. Или лучше не стоит? Нет, лучше дам.

Присутствие женщины вносит в жизнь мужчины гармонию и теплоту. Впрочем, это к делу не относится. Даже не гармонию, а разлад. С одной стороны, я получал каждый четверг у дежурного взводного надушенный сиреневый конверт, а с другой стороны – семерка по тактике и двое суток «на даче» [Под арестом] за невнимание в строю. Теперь я играл на барабане с удовольствием. Мне было все равно, что мы играли. Лично для себя я играл лишний час отпуска.

Зима, как выражаются поэты, сдалась сырым туманам. Ветер повернул и из северного стал южным. Откуда-то налетели скворцы, облепили карнизы домов и так галдели, что болела голова. На сыгровку мы уже выходили без шинелей, и когда бежали по лужам через двор, то от ветра было трудно нести барабан. Ветер дул в лицо, продувал насквозь, было холодно и славно. Приблизился выпуск и вместе с ним то угарно-пьяное настроение, которое бывает, когда мы кончаем гимназию или корпус – все равно. V

И вдруг случилось нечто странное, непонятное и неожиданное. Сначала говорили намеками, по углам. Потом громче, за обедом, за завтраком. Сквозь толстые и глухие стены училища, не пропускавшие раньше к нам снаружи ни одного звука, ни одного луча, стали просачиваться обрывки каких-то слухов, настроений и новых слов. В стране творилось неизбежное и стихийное. Целый день мы ходили как потерянные; говорили, говорили и не могли наговориться досыта. Читали газеты, но еще ничего определенного не знали. Потом вечером, на лекции о пулемете, слушая с напряженным вниманием, как говорил штабс-капитан что-то про техническую возвратную пружину и приемник, мы ничего не понимали, потому что думали о другом. Вошел юнкер Дорошевский, взволнованный, даже не спросил разрешения войти. Он что-то сказал тем, которые сидели на задних скамейках. Шепот передался, как ветер по спелой ниве, и через минуту все знали, что царь отрекся от престола [Император Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 г. в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича.].

Перестали слушать, а только говорили. И казалось, что все здание училища заряжено, как лейденская банка [прибор, служащий для скопления электричества (по названию голландского г. Лейдена), исторически первый вид конденсаторов; стеклянная банка, оклеенная внутри и снаружи станиолом (листовым оловом).], быстрыми и напряженными мыслями. Жизнь ворвалась к нам снаружи и забросала газетами, телеграммами и слухами. Вечером начальник училища собрал нас в среднем этаже и прочел два манифеста – об отречении Николая и Михаила [Великий князь Михаил Александрович 3 марта 1917 г. передал власть Временному правительству.]. Мы были так взволнованы, что никто не спал. Офицеры не знали, как им быть. Ночью откуда-то передавали по телефону, чтобы мы были готовы к выходу с ружьями и боевыми патронами. Утром кто-то из четвертой роты прошел с красным бантом на груди. У нас в классном отделении шумели. Кто-то говорил, вспотевший и взволнованный:

– Товарищи, ну как это здорово! Кто бы мог подумать – в три дня.

Потом стало известно, что в двенадцать часов будет манифестация войск. Вероятно, из нашего начальства никто ничего не знал, потому что нам ничего об этом не говорили.

А мы волновались.

– Товарищи! – гортанным голосом с придыханиями кричал князь Гардапхадзе, честный и глупый грузин. – Патроны надо взять у каптенармуса [должностное лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружия.]. Стрелять, может, будем.

Но над ним только смеялись, и он сердился:

– Бараньи головы, не понимают – стрелять будем!

Было сумбурно и весело. Без четверти двенадцать приказали строиться.

Без десяти двенадцать ко мне подбежал Журавлев с корнетом в руках и, задыхаясь, сказал:

– Идите наверх. Берите барабан. Будете играть. Будем играть.

– Ну, извините, я не умею.

– Это свинство – в такое время не уметь. Должны уметь.

– Я хочу с ружьем.

– И свинство. Кроме вас, никто не умеет. Поймите, что барабан ведет весь оркестр.

В голосе у него звенело отчаяние.

«Ага», – самодовольно подумал я.

– Петров, вы будете идти впереди батальона.

– Но как же я буду нести? Что мы будем играть? Я оскандаюсь. Слушайте, но ведь это же экспромтом, – сказал я с отчаянием.

– Для вас это не в первый раз!

Я был убит. Надевал на меня барабан весь оркестр. Пригоняли ремень. Поощряли. Просили не унывать. Посмеивались. Я начал входить во вкус. В конце концов, барабан ничем не хуже ружья. Даже лучше. С ружьем, правда, вид мужественный и боевой. Но зато барабан ведет за собой весь оркестр, как говорит Журавлев, а оркестр ведет за собой весь батальон. И кроме того, не от оркестра ли зависит, чтобы шли в ногу и вдохновенно?

От оркестра!VI

Все училище выстроилось на мостовой перед зданием. Оркестр на правом фланге. И я с барабаном через плечо. Вышел начальник училища. Его шинель была на красной подкладке и распахнута ветром. Он поздоровался с нами так:

– Здравствуйте, товарищи!

«Старая лисица», – подумали мы, но ответили ему все, как один человек. Четко прозвучали слова команды. Звякнули винтовки. И батальон, в строгой колонне, по отделениям, вытянулся по мокрой весенней улице. В перспективе солнечных домов пробежала толпа людей с красным флагом. Промчался тяжелый грузовой автомобиль. Сверкнули штыки. Послышалась музыка, крики, и стало понятно, что в улицах полно людей.

Было странно и необыкновенно. Прохожие были все серенькие простые люди. И смотрели на нас с любопытством и удовольствием. А когда мы влились в бесконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек, Журавлев сделал страшное лицо и сказал:

- Сейчас начинаем. Марш четыре
Он подсчитал ногу, и мы
грянули. Тощий юнкер оказался
страшным революционером. Он
вдохновенно гремел своими
тарелками, и все невпопад.
Солнце било ослепительными
снопами из сияющей меди труб.
И в трубах смешно и отчетливо
отражалось синее небо,
казавшееся в меди зеленым,
дома, красные флаги и лица
музыкантов. Улицы были
запружены взволнованным
народом. Войска тянулись
беспрерывным потоком, и
почти на каждом перекрестке
приходилось выжидать, пока
очистится дорога. Было
бестолково и славно. Чем
ближе мы подвигались к
главным улицам, тем больше
опьянял шум и рябило в глазах.
Какие-то студенты махали нам
шапками и кричали сиплыми
молодыми голосами, стараясь
перекричать других:

- Да здравствуют товарищи
юнкера!

Мы проходили по сырым
смадным улицам, где ютится
еврейская беднота, и наш
оркестр, как мухи - кусок
сахара, облепляли грязные,
нечесанные, каплоухие ребята.
Старые, седые евреи с пейсами
[длинные пряди волос у висков,
оставленные
неподстриженными у

верующих евреев.] снимали шапки, и беременные еврейки складывали руки на огромных животах, улыбались, и по щекам их катились слезы. Впереди меня шел батальонный командир, и я все время видел перед собой его вогнутую могучую спину и залитые грязью сапоги. Какая-то молодая еврейка, румяная и полногрудая, подобрав до колен юбку, побежала, разбрызгивая лужи, за нами, догнала батальонного командира, уцепилась за рукав шинели и, завизжав: «Уй, херувим!» - попыталась его поцеловать. Батальонный командир, не меняя шага, покосился на нее испуганно через пенсне и сделал отстраняющий жест рукой. Юнкера засмеялись, и я видел, как у еврейки блеснули глаза пьяным солнечным восторгом. Мы играли без конца «Марсельезу» [французская революционная песня, ставшая национальным гимном Франции.], и я уже не боялся, что собьюсь, и даже изредка говорил музыкантам:

- Не спешите. Реже.



Тощий юнкер сверкал своими тарелками и улыбался. Все были как на облаках.

В училище вернулись мы к обеду, уставшие от солнца, от воздуха и от толпы. После солнца и ярких красок в здании было прохладно, темно, пахло солдатским сукном и щами. Репетиция по администрации была отменена, и мы все время до ночи просидели у себя в классе и говорили. Говорили мы о близком выпуске, о свободе, о женщинах, о политике, и даже кто-то рассказывал анекдоты «для некурящих», и все смеялись. Мы были полны радости, и нервы у нас были взвинчены. А когда я ложился спать, Журавлев сказал:

- Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр.

- А вы знаете, господа, что если не считать воскресений и завтрашнего дня, то до выпуска осталось две недели, - сказал кто-то мечтательно.

- Прекратите разговоры, - сердито сказал дневальный.

Я укрылся с головой и не мог сомкнуть глаз - до того много мыслей и впечатлений стучалось у меня в голове. Казалось, что голова от них распухла. Я решительно не мог заснуть.

- Журавлев, вы спите?

- Нет. Не могу.

- Слушайте, Журавлев, правда, я был великолепен сегодня с барабаном?

- Великолепны. Если бы по справедливости, то вам надо идти в воскресенье на два лишних часа в отпуск.

- Прекратите разговоры! - рявкнул дневальный.

«На что мне два лишних часа отпуска? - подумал я. - Зиночка?»

Но в эту минуту я меньше всего думал о ней.

Ночью мне снилась какая-то чепуха, похожая на бред, от которой болела голова.

Утром Журавлев, натягивая сапоги и зевая во весь рот, сказал:

- Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр. А вы не верили.

Потом вспомнил и добавил:

- Впрочем, я вам, кажется, это вчера говорил.

- А нам, господа, до выпуска, если не считать воскресений и завтрашнего дня, - две недели, - сказал кто-то.

- Ну, быстро застилать койки! - закричал дневальный. - А то сегодня дежурный поручик Лавришин. Первое революционное офицерство, до сигнала пять минут.

